ЖИЗНЕОПИСАНИЯ,
ФАКТЫ И ГИПОТЕЗЫ,
ПОРТРЕТЫ
И
ДОКУМЕНТЫ
В 30 КНИГАХ

РОССИЙСКИЕ СУДЬБЫ

Издатель К.В.Кренов

МОСКВА, "НОВАТОР", 1997

Зачастил Достоевский и к Исаевым. Бедный Александр Иванович все сильнее спивался, потерял место таможенного чиновника; не имея наследства, влез в долги, довел семью до настоящей нищеты и теперь хлопотал хоть о какой-нибудь должности с переводом из Семипалатинска. Исаевы, и сами полуотверженные местного общества, с радостью принимали Достоевского, пусть и недавнего каторжника, простого солдата, но известного в прошлом писателя, человека, принятого в местном свете...

Мария Дмитриевна Исаева, довольно красивая худощавая блондинка лет двадцати восьми, женщина умная, образованная, страдавшая от обывательских сплетен и пересудов, нищеты, бесперспективности будущего с больным, добрым, смирным, но и безвольным, все более опускающимся мужем конечно же не могла сразу не почувствовать, что Достоевский предпочитает их дом отнюдь не ради Александра Ивановича, с которым и поговорить-то уже почти невозможно. Достоевскому было искренне жаль несчастного, безалаберного человека: беспечен, как цыган, горд, самолюбив, владеть собой не умеет, воли никакой, но все еще пытается сохранить хотя бы видимость благородства. Но еще более жаль было страдающую женщину. Дочь директора астраханской гимназии, француженка по отцу (злые языки утверждали, правда, что то ли отец, то ли дед ее — мамелюк, попавший в плен во время Наполеонова нашествия, — взгляните, мол, на Пашу, сына

се, — ну вылитый арапчонок!), женщина страстная, натура гордая, мятущаяся, порывистая, она скоро поняла, что Федор Михайлович не только сострадает ее горю, не только увлекся красивой, а на обывательском фоне Семипалатинска так и просто редкостной женщиной, но влюблен в нее бурно, с почти нескрываемой страстью. Достоевский волновал и одновременно пугал ее: она чувствовала, сознавала, что это не та мгновенная страсть, которую можно успокоить недолгой, будто случайной лаской, что натура влюбленного в нее человека не помирится на этом, потребует большего. Большего же она как раз и боялась: связать свою жизнь навсегда с человеком, конечно, редким — это она понимала, — но с недавним каторжником, простым солдатиком? Человеком вне общества, без видов на будущее и без средств в настоящем? Он симпатичен ей, она благодарна ему за его чувство, но отнюдь не влюблена в него.

Десять лет, с той, будто в иной жизни случившейся с ним любви к Авдотье Яковлевне, ни одна женщина словно и вовсе не существовала для него, и вот уже одно то, что *женщина* протянула ему руку, стало для него событием.

А тут известие: умер Александр Иванович Исаев. Мария Дмитриевна в крайнем положении, сама больна, есть нечего и вообще нет ничего, кроме долгов. Достоевский заметался, собрался сбежать в Кузнецк — а там хоть под суд! — еле отговорили. И Александр Егорович, как назло, уехал в Барнаул по служебным делам. Достоевский пишет ему письмо, умоляет найти возможность помочь несчастной женщине: "...Александр Иванович скончался. Вы не поверите, как мне жаль его... Может быть, я только один из здешних и умел ценить его. Если были в нем недостатки, наполовину виновата в них его черная судьба. Желал бы я видеть, у кого бы хватило терпения при таких неудачах? Зато сколько доброты, сколько истинного благородства. Боюсь, не виноват ли я перед ним, что подчас, в желчную минуту, передавал Вам и, может быть, с излишним увлечением одни только дурные его стороны. Он умер в

нестерпимых страданиях, но прекрасно, как дай Бог умереть и нам с Вами. И смерть красна на человеке. Он умер твердо, благословляя жену и детей и только томясь об их участи. Несчастная Марья Дмитриевна... Она в отчаянии... Кто-то прислал ей три рубля серебром. "Нужда руку толкала принять, — пишет она, — и приняла подаяние!"

Александр Егорович тоже помог вдове деньгами. Достоевского буквально доводила до бешенства невозможность хоть чем-то посодействовать несчастной любимой женщине.

А тут еще новость: донеслись слухи, будто Мария Дмитриевна собирается замуж... В отчаянии пишет он Александру Егоровичу: "...Если б Вы только знали всю мою тоску, все мое уныние, почти отчаяние теперь, в настоящую минуту, то, право, поняли бы, почему я ожидаю Вашего письма как спасенья... Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому... Она спрашивает моего совета. Просит обсудить дело хладнокровно, как следует другу, и ответить немедленно.

Неподвижная идея в моей голове! Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О не дай, Господи, никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить... Но рассудите: что же делать было ей, бедной, заброшенной, болезненно-мнительной и наконец потерявшей всю веру в устройство судьбы моей! Ведь не за солдата же выйти ей..."

Он сравнивает свое и ее положение с героями "Бедных людей" — "напророчил же я себе!"; просит передать вложенное в этот же конверт письмо Эдуарду Ивановичу Тотлебену; в письме он умоляет севастопольского героя походатайствовать за него: "Ваше слово может много значить теперь у милосердного монарха нашего, Вам благодарного и Вас любящего. Вспомните о бедном изгнаннике и помогите ему. Я желаю быть полезным. Трудно, имея в душе силы, а на плечах голову, не страдать от бездействия. Но военное звание не мое поприще... Вся мечта моя быть уволенным... Звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным..."

Он готов был пойти под суд, лишь бы увидеться с Марией Дмитриевной, объясниться, утешить, похоже по всему, обезумевшую, отчаявшуюся женщину. В июне ему удается получить командировку для лечения падучей в Барнаул. Тоже

не ближний свет до Кузнецка, но, рискуя многим, заехал все-таки на два дня к любимой. Здесь-то Достоевский и узнал имя человека, за которого решила выйти замуж Мария Дмитриевна: он оказался молодым, двадцатичетырехлетним сослуживцем ее мужа (Достоевский же и помог ему получить место учителя в Кузнецке) Николаем Борисовичем Вергуновым. Достоевский был поражен, отказался поверить в такую нелепость: если Мария Дмитриевна отказывает ему, как она его убеждала, только потому, что он человек без средств, а ей необходимо устроить не только собственную, но и судьбу сына и старого отца, то при чем тут Вергунов, который и сам едва сводит концы с концами? Тогда Мария Дмитриевна призналась, что любит этого молодого человека, но уже перед отъездом Федора Михайловича подала и ему надежду: "Не плачь, не грусти, не все еще решено..." Мария Дмитриевна просила его встретиться со своим женихом и объясниться. Вергунов расплакался, начал умолять Достоевского не мешать их счастью. Федор Михайлович чувствовал свое ложное положение: попробуй начни разубеждать, нарисуй им их будущее, которое он слишком хорошо представлял себе, — оба решат, что он ради себя старается. И Вергунов понял его состояние — а еще говорят, будто любовь даже умного превращает в дурака,— решил и вовсе не объясняться с Достоевским.

Однако Мария Дмитриевна настаивала, уже в письмах, чтобы Достоевский изложил Вергунову свои соображения насчет ее замужества с молодым человеком. "Ты и я и более никто", — написала она Федору Михайловичу и тем снова как будто подарила надежду, но слово *брат*, любимое его слово, с которым обращалась к нему любимая им женщина, приводило его в отчаяние. А еще через несколько дней она рисовала ему уже, сколь безутешен бедный Николай Борисович, обещающий наложить на себя руки, ежели она не выйдет за него замуж, и еще раз убеждала Федора Михайловича написать ему письмо, утешить, ободрить, объяснить...

И Достоевский написал — ему стало искренне жаль бедного молодого человека, и вскоре получил от него ответ: "...Вы спрашиваете, на какую жизнь я ее обрекаю? Но те самые двадцать четыре года, которые Вы используете как главный довод против меня, можно обратить и в мою пользу — ведь если мне двадцать четыре года, то у меня еще все впереди! И неужели же ей лучше будет с Вами, тридцатипятилетним пожилым человеком, у которого все уже позади, уже отличившимся, не в хорошем, а в плохом смысле, и тем самым закрывшим себе все пути? Наконец — не сердитесь, что она и об этом мне рассказала, — человеком больным, всегда мрачным и с дурным настроением! Да и не по той ли причине убеждаете Вы меня "отказаться" и "не портить" ей жизнь, что хотите получше устроить свою собственную

жизнь? Она любит меня, а не Вас, и странно было бы, если бы это было иначе!" Тут же поспело письмо и от Марии Дмитриевны, в котором она успокаивала Федора Михайловича — ничего еще не решено окончательно, но... кажется, она больше любит все-таки Вергунова...

"Дурное сердце у него, я так думаю", — написал он о Вергунове Врангелю, о ней же (великий сердцевед!): "...у ней сердце рыцарское: сгубит она себя. Не знает она себя, а я ее знаю!.." Тут же просит Александра Егоровича похлопотать о Паше и — "Еще одна крайняя просьба до Вас. Ради Бога, ради света небесного, не откажите. *Она* не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того *ему* надо место, перетащить его куда-нибудь... Это все для *нее*, для *нее* одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!.." И снова умоляет: "...У него ничего нет, у нее тоже. Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся... За что же она, бедная, будет страдать?.. И потому, ради Бога, исполните... те просьбы, которые я Вам настрочил в прошлом письме. Вы не знаете, до какой степени Вы меня осчастливите...

Если б хоть опять увидеть ее, хоть час один! И хотя ничего бы из этого не вышло, но, по крайней мере, я бы видел ее..." К сожалению, он слишком ясно сознавал: "Если б удались дела мои, то я был бы предпочтен всем и каждому!" Будь он теперь офицером — пожалуй, не пришлось бы столько перестрадать, сколько пришлось ему. И от этого сознания становилось совсем уж горько: "...ей-Богу, хоть в воду, хоть вино начать пить..."

Александр Егорович Врангель был не из тех людей, для которых на чужой спине беремя легко. Будучи это время в Петербурге, страдал за своего явно попавшего в серьезную душевную беду друга и делал все, чтобы ему было хоть немного покойнее: хлопотал за Пашу, писал добросердечные письма Марии Дмитриевне, посылал деньги так, чтобы она даже не знала от кого. Но, главное, боролся за самого Федора Михайловича; ему удалось передать письмо Эдуарду Тотлебену, убедить его в необходимости любыми средствами добиться у государя императора облегчения судьбы удивительной души человека, большого русского писателя, бессрочного солдата Достоевского.

Кажется, уж так узнал он душу Федора Михайловича, но теперь просто сотрясался, представляя, до какой крайности она доведена. "Привязанность Достоевского к Исаевой всегда была велика, — писал он, — но теперь, когда она осталась одинока, Федор Михайлович считает прямо целью своей жизни попечение о ней и ее сироте Паше. Надо знать, что ему хорошо было известно в то время, что Марии Дмитриевне нравится в Кузнецке молодой учитель... личность, как го-

ворили, совершенно бесцветная. Не чуждо, конечно, было Достоевскому и чувство ревности, а потому тем более нельзя не преклониться перед благородством его души: забывая о себе, он отдавал себя всецело заботам о счастии и спокойствии Исаевой...

Какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Федора Михайловича, судите сами, читая его заботливые хлопоты о своем сопернике... В одном письме ко мне... Достоевский пишет: "На коленях готов за него... просить. Теперь он мне дороже брата родного... Ради Бога, сделайте хоть что-нибудь — подумайте и будьте мне братом родным". Много ли найдется таких самоотверженных натур, забывающих себя для счастья другого".

Суровый воин, генерал-адъютант его императорского величества, Эдуард Иванович Тотлебен был убежден своим другом Врангелем и лично обратился к царю с просьбой о помиловании политического преступника Достоевского. Александр II продиктовал ему резолюцию о производстве Достоевского в прапорщики с предоставлением в случае необходимости права на увольнение в статскую службу, а также об установлении за ним секретного наблюдения впредь до полного удостоверения в его благонадежности, после чего ему будет позволено печатать свои литературные труды.

Весть о производстве его в офицеры, а затем, спустя некоторое время, и о возвращении ему дворянского звания обрадовала Достоевского прежде всего тем, что он мог теперь с большими основаниями побороться за Марию Дмитриевну.

"...Бог Вас послал мне. Благодарю Вас и обнимаю крепко, крепко. Вы знаете, что я Вас люблю", — писал он Александру Егоровичу. И затем конечно же о ней. "Она довела меня до безумия, — жалуется он. — Не качайте головой, не осуждайте меня; я знаю, что я действую неблагоразумно во многом в моих отношениях к ней... Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь. Я это чувствую... Но она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы..."

Ему удалось снова отпроситься в Барнаул, и вот он вновь едет к Марии Дмитриевне. И на этот раз она дает наконец согласие выйти за него замуж. Федор Михайлович начинает готовиться к свадьбе: пишет родственникам, просит денег, так как сидит без копейки — отдаст ведь, пусть не сомневаются — будет адски работать и все отдаст. Врангель деликатно отговаривает его от неверного шага, он слишком знает своего друга: измучает, изведет его своими капризами неуравновешенная женщина; и не поймет она никогда, что такое Достоевский, всегда будет он ей только средством для обеспечения жизни — и насколько сумеет сам соответствовать ее представлениям о

муже, настолько и будет хорош; да и не любит она его вовсе... Впрочем, впрочем, он и сам *сознавал* все это; только разве же разум способен сдержать порыв обезумевшего сердца?

Наконец он все-таки занимает нужную сумму, получает от начальства разрешение на вступление в брак и 27 января 1857 года отъезжает в Кузнецк. 6 февраля оформляется "Обыск брачный Одигитриевской церкви о вступлении в брак... Возраст к супружеству имеют совершенный — и именно: жених тридцати четырех лет, невеста двадцати девяти лет и оба находятся в здравом уме..."

15 февраля здесь же совершилось и венчание. Свадьба была непышная, людей собралось немного, но не это угнетало Достоевского: одним из четырех поручителей невесты стал, по ее желанию, Николай Вергунов. Что творилось с женихом — "что в эту минуту с душой человеческой делается?" — кто скажет. Возражать он не стал — не хотел огорчать невесту, но он знал, что и собравшиеся знают об отношениях Марии Дмитриевны и ее поручителя и, более того, знают, что и он знает об этих отношениях... Достоевский переживал не за себя даже — за Марию Дмитриевну: его беспокоил малодушный, но не в меру бойкий Вергунов: не сотворит ли беды, не выкинет ли с отчаяния что-нибудь эффектное, драматическое — "не позовет ли он ее к смерти?" — как определил суть своих мучений сам Достоевский в письме к Врангелю.

Ему все представлялось, что вот сейчас, через минуту, мгновение Вергунов схватит ее вдруг за руку и потащит от венца или она сама крикнет ему — "увези меня!" — и увезет, из одной только мести ему увезет, а он как идиот останется один на один с ухмыляющимися лицами: увезет и зарежет, пожалуй, чтоб не вернулась вдруг снова сюда, по малодушному себялюбию зарежет... Но все обошлось без эффектов, и ему стало стыдно за примерещившийся вдруг и пережитый в несколько мгновений мрачный роман. Но — кто знает? — может, только какой-нибудь невольный жест или взгляд один мог бы обратить пережитое воображением в переживаемое наяву...

Состояние Марии Дмитриевны и во время венчания, и по возвращении домой, на свадьбе и после, в первые "медовые дни", еще более обострило в нем сомнение: вышла ли она замуж за него или все-таки за "офицера Достоевского", поверив теперь в его будущее? Любит же она Вергунова...

Когда впервые при ней с ним случился припадок — слишком велико было нервное перевозбуждение, — ему показалось: испугалась она не за него, за себя. По дороге в Семипалатинск заехали на несколько дней в Барнаул к Петру Петровичу Семенову, учёному, путешественнику (в августе прошлого года он заезжал к Достоевскому в Семипалатинск по

дороге из Барнаула в киргизские степи), теперь он собирался в экспедицию на Тянь-Шань.

В Барнауле случился и новый, второй за несколько последних дней, сильнейший припадок, напугавший Марию Дмитриевну чуть не до смерти. Врач определил неизлечимую падучую — эпилепсию, предсказал, что умрет Достоевский во время одного из таких припадков, задохнувшись от горловой спазмы. Федор Михайлович приуныл. Приуныла и его супруга. Невесело доехали до Семипалатинска.

И началась новая, семейная жизнь. Служба была много легче — теперь сам он командует взводом, да и времени свободного поболее, можно работать над давно уже начатыми повестями "Дядюшкин сон" и "Село Степанчиково" не только по ночам. Начинает переписку с журналами. В августе 57-го в "Отечественных записках" вышла повесть его "Маленький герой" (так Краевский переименовал его "Детскую сказку", написанную еще в 49-м, в Алексеевском равелине). Но появление наконец в печати его произведения не обрадовало Достоевского: во-первых, повесть вышла под псевдонимом "М-ий", и никто не поймет, кто ее подлинный автор, ему же нужно было, чтобы в печати появилось его имя; во-вторых, не так ему мечталось вернуться в литературу; нужно нечто большое, могучее, что сразу же вернуло бы ему имя и уверенность в себе...

Работал много; много и хворал. Хворала и Мария Дмитриевна. Счастья семейная жизнь явно не сулила. Впрочем, "на свете счастья нет, а есть покой и воля...". Воля дразнила и теперь своей возможностью. Покоя же не предвиделось. Мария Дмитриевна хандрила, капризничала, нередко поминала Николая Борисовича, прекрасного молодого человека, которого оставила ради неблагодарного, вечно хмурого и более занятого своими бумажками, нежели ею, мужа. А вместе с тем бешено ревновала его, хотя ревновать было и не к кому, разве что только к разбитной красивой Марине — дочери ссыльного поляка...

Мария Дмитриевна хандрила, да и туберкулез, судя по всему, развивался, и трудно было ожидать серьезной помощи от местных врачей. Судьба мужа мало интересовала ее, убивалась за будущее сына — нужно же его определить к делу, а Федор Михайлович занят только своими "бумажками". Знакомиться ни с кем не желала, так что ему пришлось делать визиты одному, у себя тоже не принимали — негде, да и Мария Дмитриевна стыдилась их бедности. Он же взвалил на себя и домашние заботы, и о пасынке не забывал. Но страдал и нравственно и физически, нервы шалили и у него, и у Марии Дмитриевны, жизнь порою казалась конченой. Представлялось порой, словно он живет на станции, а мимо несутся поезда, и нет ему места в них, нет ему дороги.

"Положение мое здесь тяжелое, скверное и грустное, — жалуется он Михаилу. — Сердце высохнет. Кончатся ли когда-нибудь мои бедствия и даст ли мне Бог наконец возможность обнять вас всех и обновиться в новой и лучшей жизни?.."

Тяжелые дни переживал Достоевский. После ежедневной журнальной лихорадки вдруг какой-то провал, пустота. На беду не роптал — затем и бьют, чтоб больно было, но остаться без дела, без денег, без видов на будущее?.. Даже и начатого нет ничего, чтобы уйти хоть на время в писательскую маету, — оно-то, может, еще век и долог, да ведь и час дорог. И домой хоть вовсе не ходи... Несчастная Мария Дмитриевна медленно таяла, в последнее время страдала и от частых галлюцинаций — вдруг ни с того ни с сего задрожит и зашепчет: "Черти, черти, вот черти!" Глаза безумные, а в них страх. Федор Михайлович или, если при нем случалось, доктор раскрывали форточку, с пресерьезнейшим видом разыгрывали сцену изгнания чертей. Форточка наглухо закрывалась. Больная успокаивалась. Все часы в доме заводила до такого предела (будто боялась — остановятся и с ними остановится жизнь ее), что полопались пружины, одни только ходики теперь и отсчитывали ее время. Доводили ее до истерики шаги мужа ночью, в часы бессонницы, по кабинету. И тогда в который раз он выслушивал, зажав ладонями до боли виски, ее болезненно-фантастические откровения: и не любила-то она его никогда. И неужели же он действительно возомнил, будто она могла полюбить его, каторжника? Да ни одна женщина, хоть немного уважающая себя, не может любить такого человека, как он... Так нет же — заманил, наобещал златые горы... Писатель! Гоголь! Ни денег, ни квартиры порядочной... Потом припадок внезапно сменялся столь же бурным отчаянием — она рыдала, клялась, что никогда никого не любила так страстно, как его, а он не любит, потому что она противна ему, и правильно — кто же станет любить чахоточную, и — о, она знает! — он, и его родственники, и друзья только и ждут, когда она умрет наконец... И затем все прокручивалось сначала, пока, обессиленная, всхлипывая и повизгивая, она наконец не затихала и, кажется, засыпала...

Курил, уставясь долгим взглядом в светлеющее окно. Что же делать? Жить плохо, да ведь и умирать не находка. Теперь у нее не оставалось ничего, кроме болезни и наполовину придуманных самой же воспоминаний. Ему было нестерпимо больно за нее, за ее обреченность и за то, что сам он — какое страшное, и как нелепо оно звучит, это слово, — счастлив сейчас невозможным, грешным счастьем, но оно все-таки дает ему ощущение жизни, какого-то света в дальнем окне. Больно за то, что он вынужден таиться, будто воровать это счастье у нее, больной, обреченной Марии Дмитриевны. Его

Маши... Но теперь — он знал это наверное — он не в силах уже ничего изменить. Сначала он еще пытался перенести не растраченную на не рожденных им детей любовь на Пашу, понимал — не сладко ему без отца, при больной, психически неуравновешенной матери, но все яснее сознавал: близости не то чтобы родственной, но и дружеской нет и не предвидится. Парню уже 17 лет — никаких серьезых интересов, фатоват, пошловат даже, но самомнение как у наследного принца...

Семьи не получилось. Постоянное ощущение бессемейности — при живой-то жене и ребенке, пусть не его, но ребенке, бездомности в своем доме, душевной бесприютности в домашнем кругу — стало привычным, и он уже и не мечтал ни о какой личной жизни, тем более о страстях или счастье. Казалось, сами эти понятия настолько чужды всему укладу его сознания, самой судьбы его, наконец, а единственные движущие им силы — страдание и надежда — настолько ему сродни, что никакие повороты и неожиданности уже не способны ничего изменить в его собственной обреченности.

Оставалось одно — работа.

Мрачно и страшно становилось порой, до боли унизительна эта беспомощность: он, взрослый человек, никогда не ленился, всегда работал как вол, чуть не вся образованная Россия читает его, а он не в состоянии помочь ни брату, ни Маше... Впрочем, Маше уже вообще не помочь — никакими миллионами, если бы даже они и были... Состояние постоянной подавленности усугублялось всевозрастающим ощущением собственной виновности и перед Машей — за Полину и перед самой Полиной — что теперь с ней? — может, и за Сальвадора не столько она, сколько он, Достоевский, в ответе? Почти наверняка, даже непременно так. Потому что все связано, все соприкасается, и нет ничего и никого самих по себе...

15 апреля у Марии Дмитриевны вдруг хлынула горлом кровь. Когда ей стало чуть легче, она словно просветлела, взгляд ее стал покоен, она попрощалась со всеми, у всех попросила прощения, со всеми примирилась, даже с Михаилом Михайловичем, в котором неизвестно почему видела едва ли не главного своего врага... К вечеру она уже отмучилась.

Что она теперь? Или то, что перед ним, — и все? И больше ничего?

"Маша лежит на столе, — записывает он в тетрадку, — увижусь ли с Машей?